

АНТОНЪ КРАЙНІЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЯ РАЗМЫШЛЕНІЯ

I.

Критики у насъ нѣтъ. И, можетъ быть, это хорошо. Сами критики не хотятъ критики. И, можетъ быть, они правы. Не будемъ вдаваться въ объясненія, почему и отчего. Слишкомъ сложно и длинно. Лучше просто примемъ это, какъ фактъ.

Но отъ размысленій о литературѣ отказаться нельзя, да и нѣтъ причины. Размышляя, мы не дѣлаемъ никакихъ окончательныхъ выводовъ; а если и дѣлаемъ — то никому ихъ насильно не навязываемъ. У сосѣда получаютъ другіе? — это лишь значить, что у него другое построеніе, другая цѣпь мыслей.

Предметовъ, частныхъ случаевъ и явленій, о которыхъ приходится размышлять, — каждый день изобиліе. Всякаго рода, во всѣхъ областяхъ, въ литературной, какъ въ другихъ. Но свойство именно «размысленія» таково, что, зацѣпившись за какую-нибудь частность, на ней не останавливаешься, а незамѣтно расширяешь кругъ, переходя къ болѣе общимъ, — по этому поводу, — соображеніямъ.

Такъ, поводомъ къ сегодняшнимъ моимъ литературнымъ мыслямъ послужилъ только что вышедшій романъ И. А. Бунина «Истоки жизни» («Жизнь Арсеньева»). Пиши я критику — на этомъ произведеніи я бы и сосредоточился, разобралъ бы, какъ оно построено, отмѣтилъ лучшія мѣста, сдѣлалъ цитаты и т. д. Но я только размышляю, а потому даю волю всѣмъ попутнымъ мыслямъ, которыя приходятъ въ голову: о русскомъ писателѣ Бунинѣ вообще, о характерѣ и силѣ его творчества въ прошломъ и настоящемъ, о мѣстѣ этого исключительно-одареннаго художника въ русской литературѣ... что, конечно, приведетъ меня и къ нѣкоторымъ мыслямъ о нашей литературѣ вообще. Да и мало-ли къ чему это еще можетъ привести! Въдъ литература любой страны и народа не существуетъ же независимо, она вкраплена въ исторію и судьбу народа.

Но такъ далеко я постараюсь не забираться.

«Истоки жизни»... Обаянье бунинскаго письма, чуть не гипнотическое его дѣйствіе, испытывалъ на себѣ всякій. Въ новомъ романѣ его не

меньше, чѣмъ во всѣхъ прежнихъ. Плъняеть ли Бунинъ воображенье читателя? Или сердце? Нѣтъ; онъ просто «держитъ» человѣка, какъ его держитъ его собственная плоть и плоть окружающаго міра. Силой словесной изобразительности Бунинъ подчасъ дѣлаеть міровую матерію — о щ у т и м о й. Это было бы невозможно, если-бы, подъ словесными способностями изображать, не лежало у Бунина особо-повышенное ощущение именно плоти міра, матеріи міра. Пятичувственнымъ воспріятіемъ наше отношеніе къ міру, къ жизни, обыкновенно, не исчерпывается. Но если эти пять чувствъ находятся въ чрезвычайномъ обостреніи и развитіи, то, пожалуй, для чего нибудь сверхъ чувственныхъ ощущений уже не будетъ и мѣста. Они очень могутъ заполнить творчество..., а иногда и заполнить самого человѣка.

Конечно, то, что видитъ, чувствуетъ, осязаетъ, слышитъ и обоняетъ Бунинъ, — и съ чудесной точностью передаетъ, — подлинная жизненность. Правъ и самъ онъ, и читатели, опредѣляя его творчество, какъ «жизненное». Но правы и тѣ, кто, не отрицая жизненность Бунина, ищутъ еще какого-то плюса, какой-то прибавки къ своему отношенію къ жизни; и, если имѣютъ склонность и способность къ творчеству, ищутъ формъ, чтобы его, это свое отношеніе, воплотить.

Такіе, и подобные, поиски — вѣчны; они всегда были, во всѣхъ областяхъ жизни, и всегда будутъ: это — законъ д в и ж е н і я. Безполезно, неправда-ли, съ нимъ не считается?

Во всѣхъ областяхъ... но такъ какъ я началъ размышлять о литературѣ, да еще о русской, то къ ней (не забывъ въ свое время Бунина) и вернемся. Тѣмъ болѣе, что «державное теченіе» и этой рѣки тоже «покорно общему закону».

II.

Что, собственно, случилось съ русской литературой въ концѣ прошлаго столѣтія? По внѣшности — какъ будто нѣчто рѣзкое, не обычное; но по существу — ничего такого, что не подготовлялось бы и тихо не совершалось и въ болѣе ранніе годы XIX вѣка. Въ теченіи своемъ всякая рѣка можетъ набѣжать на порогъ. И тогда начинается бурлить, прыгать, даже разбиваться на рукава... Эти рукава, правда, уже перестаютъ течь, но, отбившись отъ главнаго русла, образуютъ тихія заводи, иногда цѣлыя озе-

ра; а рѣка, послѣ пѣнистыхъ кипѣній и брызгъ, находитъ коренное русло и продолжаетъ свой путь.

Конецъ столѣтїя и былъ такимъ порожистымъ моментомъ для русской литературы.

Если зарисовывать кратко, говорить по учебнику (воображаемому) — картина извѣстна: болѣе крупные, старые писатели сошли со сцены, или стояли на краю; общая-же литература незамѣтно начинала принимать какіе-то сѣроватые тона. Не потому, что большихъ талантовъ среди признаваемыхъ писателей тамъ не оказывалось, а молодые только еще «подавали надежды»; и не потому, что не сохранялось въ тогдашней литературѣ никакихъ прежнихъ традицій. Нѣтъ, одна изъ множества сложныхъ причинъ этой сѣроватости («упадка», какъ тогда говорили), — была упорная вѣрность нѣкоторымъ традиціямъ..., но лишь «нѣкоторымъ», и выборъ, для того времени, былъ неудачнымъ. Свято береглась традиція «жизненности»; мало по малу, въ связи съ общими историческими вѣяніями и съ временнымъ оскудѣніемъ яркихъ талантовъ, эта «жизненность» стала претворяться въ извѣстную «реалистичность», и весьма далекую, иной разъ, отъ искусства, ибо о немъ забота явно изсякала.

Вотъ тогда-то, какъ мы знаемъ, и случилась эта вещь: появленіе «декадентовъ» (слово французское, но декаденты наши родились самостоятельно, безъ вліянія Франціи, да и «декадентство» у насъ было другое). Литература приняла ихъ въ штыки, понявъ одно: это — враги. Они противъ «литературы», ибо противъ главной ея традиціи — жизненности, «реализма». Штыки насмѣшекъ, сначала добродушныхъ, скоро сдѣлались озлобленными. Декаденты приняли бой. Армія ихъ все росла, а какія въ ней постепенно шли измѣненія и перегруппировки, — присяжная литература не замѣчала, да и не интересовалась: для нея это были все тѣ-же «декаденты», все тѣ-же враги, идущіе противъ установленной «жизненности» въ литературѣ, да еще во имя «искусства». Въ исторіи литературы они связывали себя какъ разъ съ писателями, которыхъ «реалисты» плотно забыли, а чтимыхъ ими — пренебрежительно свергали съ пьедесталовъ.

«Только идиоты не знаютъ, что искусство — въ искренней, честной и возможно-полной передачѣ окружающей насъ жизни... говорили съ раздраженіемъ писатели «признаннаго» стана.

«Много вы въ искусствѣ понимаете!» отвѣчали имъ. «Да не больше

и въ жизни, если думаете, что она лишь то, что можно ощупать, о чемъ можно разсказать точными словами»...

Такъ «вѣрнымъ» отвѣчали уже не «декаденты»: сформировалась группа, называвшая себя «символистами».

Я не хочу касаться сейчасъ ни сущности символизма, какъ понятія, ни того явленія, которое извѣстно подъ именемъ «школы символизма». Я говорю только о борьбѣ и опредѣленномъ поворотѣ, который, на порогѣ вѣка, совершило теченіе нашей литературной рѣки.

Рѣка побѣдила, потекла дальше по своему руслу. Но, въ процесѣ борьбы съ препятствіемъ, поднимаясь, она отдѣлила отъ себя множество ручьевъ, какъ бы рукавовъ, которые уже въ русло, однако, не возвратились, а образовали свои спокойныя озера, или тихія заводи, затоны, порою хрустально чистые и глубокіе.

Традиционная «жизненная» литература XIX вѣка почти вся разби-лась по заводямъ.

III.

Было бы ошибкой разсматривать литературную борьбу этого момента какъ борьбу поколѣній. Не слѣдуетъ также сводить ее къ періодическимъ смѣнамъ «реализма» и «романтизма». Аналогіи, при желаньи, всегда находятся; но дѣйствительныхъ повтореній въ исторіи нѣтъ: ихъ исключаетъ законъ движенія. Рѣка, на пути своемъ, встрѣчаетъ не мало пороговъ; но всѣ они разные, хотя и всѣ одинаково бывають преодолены, при чемъ какія-то струи неизмѣнно выплескиваются, чтобы образовать, въ сторонѣ, свои, неподвижныя, водоемы. Кстати сказать: теперь ужъ видно, что и «декадентство» чистѣйшей марки не избѣгло, въ свой срокъ, той-же участи. И оно, и многообразныя его отпрыски «по-декадентства», съ характерными концепціями «искусства» и съ оттолкновеніемъ не отъ «жизненной» литературы XIX вѣка, а огуломъ отъ всякой жизни въ литературѣ (и даже та часть стараго «символизма», въ которую вмѣшаны были элементы, не способные къ движенію) — все это уже покоится въ заводяхъ. И когда теперь мы слышимъ голоса со знакомыми нотками «искусство-поклонничества», или чего нибудь вродѣ, — будемъ осторожны: это голоса изъ затоновъ, голоса тѣхъ, кто уже не находится въ главномъ теченіи литературной рѣки: она выплеснула ихъ

и ушла дальше. Такъ-же, какъ ранѣе, — въ свое время, — выплеснула и «жизненниковъ» стараго типа.

Но вернемся къ нимъ и къ столкновению конца XIX вѣка.

Уже потому не было оно борьбой «поколѣній», что вовсе не всѣ тогдашніе «новаторы» принадлежали, по возрасту, къ новому поколѣнію; а въ лагерьъ противномъ было много молодежи, изъ которой иные, въ то время «подававшіе надежды», осуществили ихъ, вполнѣдствіи, самымъ блестящимъ образомъ.

Одинъ изъ нихъ — Бунинъ; и даже первый изъ нихъ, ибо можно ли оправдать «надежды» болѣе блестяще? Лагерю, въ которомъ находился съ юности, онъ такъ и не измѣнилъ.

Въ творествѣ писателя-художника, если онъ обладаетъ большимъ талантомъ, часто можно замѣтить черты внутренняго трагизма. Но трагедія у каждаго непремѣнно своя, соотвѣтственная ему и сущности его творчества. Попробуемъ взглянуть въ трагедію Бунина. Гдѣ она, въ чемъ — для него?

Она — тутъ-же, въ томъ-же кругѣ его воспріятій міра благоуханнаго, звучащаго, красочнаго. Въ самой полнотѣ чувственнаго его воспріятія міровыхъ формъ. Не распадаются-ли формы? Не вянетъ-ли всякая красота? Не исчезаетъ-ли благоуханье? Для Бунина ощущение «жизни» есть въ то-же время и ощущение смерти. И въ каждый данный мигъ онъ страстно «жизнь» (вѣрнѣе, свой міръ-космосъ) принимаетъ, и его-же ненавистнически отталкиваетъ.

Очень рѣдко такая трагедія бываетъ осознанной. Между тѣмъ, не высвѣтленная, она особенно безнадежна. Это — трагедія неподвижности.

Современникъ и очевидецъ того давняго литературнаго столкновения, о которомъ мы сейчасъ вспоминаемъ, — Бунинъ сохранилъ въ себѣ до сихъ поръ черты, свойственныя своимъ единомышленникамъ и участникамъ, хотя-бы косвеннымъ, тогдашней борьбы. Какъ они — онъ думаетъ, кажется, что борьба, именно эта, еще длится. Какъ они — Бунинъ не удосужился разобраться въ послѣдовательныхъ группировкахъ «враговъ», ни присмотрѣться къ разности ихъ лицъ: всѣ были и остались «декадентами» (или символистами, или все равно, какъ) врагами принципу «жизненности», негодными врагами литературы. И тѣ-же, испытанные, приемы борьбы. Не помнятся-ли они намъ? Не звались ли «врагами», безъ разбора, при

случаѣ и безъ случая, по просту «сумасшедшими, идіотами, дураками, болванами», а то «лакеями и подлецами?».

Когда я думаю объ этомъ, и о такомъ крупномъ писателѣ-человѣкѣ, какъ Бунинъ, мнѣ становится жалко и больно. Не то жаль, что теченіе литературы, движеніе, прошло мимо него, и что не понялъ онъ движенія, чуждаго его природѣ, его складу, его таланту: тутъ его естественное право. А, вотъ, понять, что онъ всего этого не понимаетъ, — онъ могъ бы; и мнѣ жаль и обидно за Бунина, что такого простого пониманія у него нѣтъ.

Это измѣнило бы многое для него самого. По новому увидѣлъ бы онъ, какъ прекрасно его широкое озеро. И развѣ не каждому человѣку дана своя судьба, свой талантъ? И развѣ судьба писателя Бунина, талантъ не зарывшаго, а сѣумѣвшаго пріобрѣсти вдвое и втрое, — не счастливая-ли судьба? Зачѣмъ тревожная забота о «врагахъ», которые, кстати, и не враги вовсе? Для всего есть мѣсто на землѣ: и для бурливой рѣки, и для озера, покоящагося въ зеленыхъ берегахъ...

Обаятельность бунинскаго касанья къ видимому міру такова, что, попавъ въ этотъ волшебный кругъ, невольно останавливаешься, зачарованный. И особенно бесполезными кажутся требованія, съ которыми иные къ Бунину подходятъ. Надо помнить: онъ не учитель и не вождь. Научиться отъ него нельзя, подражать ему нѣтъ смысла, а вести... куда можетъ вести тотъ, кто самъ никуда не двигается?

Бунинъ лишь показываетъ намъ «жизнь», — вѣрнѣе, широкій міръ, — въ блистательной неподвижности мгновенья.

Если самъ художникъ пойметъ это когда-нибудь, пойметъ природу своей силы, ея границы, почувствуетъ, что «жизнь» — шире, чѣмъ видятъ его острые глаза, — его творчество пріобрѣтетъ новое очарованіе: гармонію и спокойствіе мудрости.